Исай КУЗНЕЦОВ

Джинн

Эльба, вопреки моим поэтическим представлениям, оказалась рекой довольно обыкновенной, никакими красотами не блиставшей, во всяком случае, в том месте, где нам надлежало наводить мост. Низкие берега, по-весеннему мутная, холодная вода, лениво хлюпающая у плоского, ничем ни примечательного берега.

Мы расположились в обширной усадьбе с мрачноватым трехэтажным домом, который солдаты называли замком, из-за четырех, стоявших на лестничных площадках рыцарей в блестящих доспехах, с опущенными забралами и с мечами, которые они держали перед собой, а также из-за множества охотничьих трофеев, украшавших стены обширного хозяйского кабинета. Замок не замок, но в сводчатых его подвалах хранилось изрядное количество бочек с вином, старинных, неподъемных, сработанных, казалось, еще мастером Мартином и его подмастерьями.

Вино было тут же опробовано и признано просто квасом – и кислое, и слишком слабое. Однако солдат не оставляла уверенность, что в запутанных коридорах этих подвалов хранится кое-что и покрепче, так что полутемные, пахнущие вековой сыростью помещения, подверглись самому тщательному исследованию. Поиски увенчались успехом, но несколько позднее, потому что с ходу, прямо с машин, мы приступили к наводке понтонного моста.

Уже через два часа мы переговаривались, вернее, перекрикивались со стайкой девушек, стоявших на другом берегу, и с волнением ожидавших, когда последний паром замкнет мост. Не успел он занять свое место, как они бросились, прыгая через оставшуюся не перекрытой полоску воды, прямо на паром. Одна из девушек не допрыгнула и упала в воду. Солдаты со смехом втаскивали ее на настил, в то время как другие обнимали нас, целовали, плакали и снова целовали, плакали, обнимали, не вытирая слез.

Это были наши, русские, украинские девушки. Они выкрикивали какие-то несуразные, взволнованные слова, называли свои имена, места, откуда они родом, искали земляков. Вот уж когда оказалось, если из окна в окно – сто верст, то, безусловно, соседи. Да что там сто верст! Казань и Ярославль, Псков и Белгород, все казалось рядом, рукой подать!

Еще когда все они были на берегу, я обратил внимание на девушку, стоявшую чуть в сторонке, не принимавшую участие в общей радости. Невысокая, плотная, с широким, слегка скуластым лицом, со сдержанным, даже строгим выражением темных, почти черных глаз, она не прыгнула со всеми на паром, оставаясь стоять на берегу, задумчиво поглядывая на общее веселье.

Только когда первый наш солдат соскочил на берег, она упала перед ним на колени и закрыла лицо руками – жест, который в любых других обстоятельствах показался бы театральным. В любых других...

Солдат, перед которым она стояла на коленях, растерялся, стал неуклюже поднимать ее. Она поднялась, трижды, крест накрест поцеловала его и снова, закрыв руками лицо, отошла в сторону.

На невысоком пригорке, почти у самой реки, начиналось село, немецкое село. Широкая улица, мощенная мелкими камнями, обсаженная старыми раскидистыми вязами, глухие заборы, чугунные ворота. Каменные дома с черепичными островерхими крышами, слишком основательные для нашего представления о селе, обширные, тоже каменные, службы. Не село – Dorf.

Неожиданно, вскоре после того, как мост был закончен, мы оказались в просторной комнате одного из этих немецких домов, человек десять понтонеров, вместе с встречавшими нас девушками. Затащила нас в дом маленькая шустрая девчонка, которую все звали Нинкой. По-немецки она говорила чудовищно, но бойко и уверенно. Ее бывшие хозяева, муж и жена, на Нинку поглядывали испуганно и заискивающе, готовые выполнить любое ее требование. Нинка велела подать вина и угощение.

– Scheise! – кричала Нинка резким требовательным голосом, и мне показалось, что хозяева боялись ее больше, чем нас.

На столе тут же появились вино, шнапс, холодное мясо, консервированные помидоры и свекла, чуть позже – горячая, картошка и горячая, сваренная с кислой капустой жирная свинина. Хозяйка не спускала глаз с Нинки, беспрекословно выполняя все ее требования.

А маленькая неугомонная Нинка все кричала: “Scheise! Scheise!” – будто хотела вернуть хозяевам все те “Scheise”, которыми они еще недавно награждали ее.

Мы пили за победу, за их освобождение, слушали рассказы этих девушек, сочувствовали их нелегкой судьбе и снова пили за победу, за освобождение, за родину.

Девушка, упавшая на колени перед нашим солдатом, стояла в стороне и не принимала участия в общем веселье. Лишь когда мы пили за победу, пригубила из толстого граненого бокала и поставила его на окно. К еде она не прикоснулась.

– Психованная! – фыркнула Нинка, и все, кроме меня, перестали обращать на нее внимание.

А я нет-нет и поглядывал на нее. Она оказалась красивей, чем мне показалось поначалу. Там на берегу я смотрел на нее сверху, с моста, а сейчас я сидел, а она стояла прямая, стройная, в темно-коричневом платье, кутаясь в старенький шерстяной платок, и внимательно, я бы даже сказал, – зорко, вглядывалась в нас, в то, как мы пьем и, разумеется, пьянеем. Поначалу мне подумалось, что она осуждает нас – и солдаты, и девушки быстро захмелели, объятия и поцелуи потеряли свой братский, патриотический характер. Нинка сидела на коленях у Сережки Замчалова, и они, забыв, что не одни, целовались подолгу, самозабвенно, будто давно разлученные любовники. Нет, она смотрела не осуждающе, а спокойно, задумчиво, думая о чем-то своем.

– Scheise! – крикнула Нинка и на своем причудливом немецком языке с примесью русских, не самых приличных слов, приказала хозяйке принести аккордеон. Немолодая суховатая немка мелкими торопливыми шажками направилась в соседнюю комнату и вернулась с большим, нарядным, с перламутровыми инкрустациями, аккордеоном.

Нинка уселась на стол и, раздвинув меха, запела неожиданно мягким, чуть хрипловатым голосом.

Любимый мой, пора моя настала.
В последний раз я карандаш беру...
К кому б моя записка ни попала,
Она тебе писалась одному.

И сразу исчезла ее бесшабашность, лицо стало серьезным, а глаза глядели горько и безнадежно, будто и не было этой встречи, будто все еще не верилось в освобождение. Я прежде никогда не слышал этой песни, сложенной здесь, в Германии, быть может, такой же девчонкой, как те, что сейчас слушали ее со слезами на глазах.

Ты должен знать, что может дать рабыне
Железная немецкая земля.
Быть может, на какой-нибудь осине
Уже готова для меня петля,
Быть может, буду я валяться под откосом,
В пыли проезжих, каменных дорог,
И по моим, по золотистым косам
Пройдет немецкий кованый сапог.

Песня наивная, не очень складная, положеная на мотив знакомый, довоенный, произвела на меня такое впечатление, что и сейчас, кажется, вижу комнату в немецком деревенском доме; Нинку, сидящую на столе, с огромным, почти закрывающим ее аккордеоном; девушек, еще только что веселых, безудержно отдающихся счастью обретенной свободы, поющих эту, свою, именно свою, песню.

Настроение переменилось. Все замолчали, задумались. Я встал из-за стола и вышел на улицу. Вышел за мной и Сережка Замчалов, изрядно нагрузившийся. На крыльце появилась молчаливая девушка и направилась к нам.

Сережка, повернувшийся к забору, чтоб справить нужду, заслышав ее шаги, быстро одернул гимнастерку и обернулся.

– Анна, – назвала она себя, протягивая Сережке руку. – Аня, то есть.

Она подала руку и мне, но я явно интересовал ее меньше.

Мы тоже назвали себя.

– Пойдемте со мной, – сказала она Сережке, сказала негромко, но заранее не принимая возражения.

Сережка, польщенный предложением, прижал руку к пилотке.

– Пошли, – подмигнул он мне.

Я понимал, что мое присутствие не предусматривалось, но интерес к этой странной девушке и выпитое вино влекли к авантюрам. В конце концов, если все будет складываться так, как я предполагаю, можно будет быстро убраться. Да и в лице Анны не отразилось ни досады, ни протеста против того, что Сережка отправится с ней не один.

К тому же начинало темнеть, и отпускать изрядно подвыпившего Сережку одного было вообще небезопасно. Мы вырвались далеко вперед, и здесь, на западном берегу Эльбы, не оказалось наших частей. С запада, навстречу нам двигались американцы. Между нами лежала земля, не занятая никем, немецких войск на оставшемся между нами узком пространстве тоже не было. Но и абсолютной уверенности, что мы не столкнемся со случайными немецкими солдатами, быть не могло. Не вполне устраивала нас и встреча с союзниками: в последние дни поговаривали, что американцы обстреляли наши передовые части, а мы тоже не остались в долгу, и вовсе не исключено, что нам еще предстоит воевать уже не с немцами, а чуть ли не со всем миром. Быть может, слухи эти шли от немцев – Геббельс обещал им такую возможность, но, скорее всего, они имели другой источник. Высшему командованию нашему совсем не улыбались братания советских солдат с американскими, вне официально разрешенных и, соответственно, регламентированных, как в Торгау.

В конце концов, благоразумие подсказывало, что нельзя отпускать Сережку одного, и я отправился вместе с ними в соседнюю деревню, откуда Анна прибежала, узнав о приближении наших войск и наводке моста.

Добрались мы туда, когда почти уже стемнело. В домах света не было, село казалось вымершим.

За всю дорогу Анна произнесла всего несколько слов. На вопросы отвечала сдержанно и, как мне казалось, неохотно. Родилась в городе Осколе. О родителях ничего не знает, живы они или нет. Отец с первых дней войны в армии. До войны успела окончить восемь классов.

Зато Сережка оказался на редкость болтливым, что тоже говорило о степени его опьянения. Услышав, что она из Оскола, он тут же выдумал, что бывал там с цирком, где работал шпрехшталмейстером, и по ошибке укротителя тигров попал в клетку со львами. Трепач и выдумщик, Сережка был в ударе. Анна слушала его рассеянно, и только путаница со львами и тиграми вызвала у нее нечто, вроде улыбки, тут же исчезнувшей.

Я шел, пытаясь все-таки понять, куда она нас ведет и зачем. Поотстав от быстро шагающей Анны, придержал Сережку и спросил, что он об этом думает.

– Ведет к своей подруге, – он игриво подмигнул мне и тут же приложил палец к губам.

Я решил не гадать, посмотреть, чем все это кончится. Судя по поведению девушки, я был не склонен предполагать что-либо похожее на Сережкины намеки.

Анна ввела нас во двор. Звякнула цепь, залаяла собака.

– Ruig, Reks! Schweigen! – крикнула она и собака затихла.

Мы вошли в дом. Анна зажгла свет. Комната, в которой мы оказались, была, по-видимому, столовой и была обставлена тяжелой дубовой мебелью. Анна открыла дверцу громоздкого буфета и поставила на стол бутылку рома и два бокала. Она держалась как хозяйка, уверенно и непринужденно. Разлила по бокалам ром и выжидающе поглядела на нас. Так “ставят” выпивку нанятым работягам, приглашенным пилить и колоть дрова, красить крышу, чинить двери или крыльцо.

– А себе? – спросил Сережка.

Она покачала головой

– Пейте!

Мы выпили. Анна улыбнулась чуть заметной, нет, почти совсем незаметной улыбкой, может быть, то была даже не улыбка, а так, тень какой-то затаенной мысли.

– Пойдемте! – сказала она, и пошла к двери, ведущей в другую комнату. Мы переглянулись и пошли за ней в комнату, где на широкой деревянной кровати, укрытая пуховым одеялом лежала женщина, судя по тяжелому, прерывистому дыханью, больная.

– Хозяйка, – сказала Анна. – Она не встает. Паралич. Третий день не встает.

Мы прошли через комнату с больной хозяйкой и, пройдя по коридору, поднялись по узкой винтовой лесенке, остановились перед закрытой дверью. Анна распахнула дверь и включила свет. В маленькой уютной комнатке, с завешанным тяжелыми, плотными занавесками окном, на узенькой деревянной кроватке, сидела девочка лет пятнадцати, белокурая немочка с почти кукольным личиком. Держа в руке пушистого медвежонка, она широко распахнутыми, немигающими глазами смотрела на нас.

Анна подошла к ней и дернула за ворот розовой ночной рубашки.

– Анхен... – испуганно прошептала девочка, прижимая к груди медвежонка.

Анна вырвала медвежонка у нее из рук и разорвала ее рубашку до пояса.

Девочка прижалась к стене, прикрывая рукой маленькие, не вполне развившиеся груди. Губы у нее дрожали. Смотрела она не на нас, а на Анну –

не мы, а Анна внушала ей страх.

– Возьмите ее! – потребовала Анна.

– Анхен... – снова прошептала девочка.

– Берите! Не бойтесь, она еще девица!

Сережка перевел взгляд с девочки на Анну.

– Ладно, попугали и хватит. А то она еще совсем помрет с перепугу. Пошутили и ладушки.

Анна резко обернулась к Сережке

– Пошутили... Ну, конечно, они тоже... шутили! Все трое – ее отец и братья... шутили! Ну, что вы стоите?! Жалеете? Меня никто тут не жалел!

Она подскочила к девочке и сорвала с нее рубашку. Теперь, совсем голая, она сжалась в комочек и закрыла лицо руками – испуганная, жалкая. Беспомощная,

– Не надо, Аня, она же совсем ребенок, – сказал я, но Анна кинула на меня презрительный взгляд и схватила Сережку за руку.

– Сделай это! Отомсти за меня! Ну, пожалуйста, чего тебе стоит? Умоляю тебя! Ты же можешь, тебе это ничего не стоит! – и вдруг она, как там на берегу, упала на колени и зарыдала, в голос, по-бабьи...

Мы стояли растерянные. Сережка попытался поднять ее, но она оттолкнула его и встала сама.

– Уходите! – сказала она глухо, не глядя на нас. Уходите! Найду других!

Мы нерешительно, стараясь не глядеть ни на Анну, ни на застывшую в страхе голую девочку, вышли из комнаты, спустились по скрипучей винтовой лестнице, прошли мимо парализованной хозяйки, вышли во двор, где безмолвно звякнула цепью невидимая в темноте собака, и покинули фольварк.

Всю дорогу мы не проронили ни слова.

Два дня мы держали переправу "у замка". Ни один солдат, ни одна машина по нашему мосту не прошли. Что-то изменилось в планах командования, и мы получили приказ навести переправу в другом месте. Мы развели мост и, погрузив понтоны на машины, готовились перебраться куда-то ниже по течению Эльбы. Но перед самым отъездом объявили построение, и мы выстроились перед роскошным, с двумя оскалившимися львами, подъездом, по двое в ряд.

Из замка вышли командир батальона, полковник Матюшин, наш врач Сарра Мироновна и... Анна.

Анна шла чуть позади, медленно, неохотно, будто по принуждению. Она держалась с уже знакомой сдержанностью, но лицо ее выглядело каким-то потухшим.

Все трое шли вдоль строя и по тому, как комбат и Сарра смотрели то на Анну, то на стоявших в строю солдат, я понял, что Анна должна кого-то узнать. Она смотрела на солдат устало и безразлично, мимо нас с Сережкой прошла, будто никогда нас и не видела, на мгновение остановилась, взглянула на одного из солдат, стоявших в первом ряду, и тут же, покачав головой, пошла дальше.

Когда весь строй оказался позади, Сарра обернулась к Анне и снова, молча, покачала головой.

– Неправда, Аня, – сказала Сарра. – Вы их узнали.

– Нет, – отвечала Анна. – Их здесь нет.

Полковник благодарно кивнул Ане и скомандовал: "По машинам!"

Я ехал в последней машине. Оглянувшись, я увидел, как Анна, не глядя нам вслед, шла к реке. У воды она устало опустилась на землю и застыла, неподвижно уставившись на мутную, весеннюю воду Эльбы.

По дороге Сарра рассказала, что именно произошло. Она подтвердила мою догадку.

Ей сказали, что в дальнем фольварке, в самом конце деревни, лежит больная женщина. Она взяла медсестру Зиночку и отправилась навестить больную. В доме их никто не встретил, и они зашли в комнату, где в постели лежала пожилая женщина. По мутному, застывшему взгляду, по неясному мычанью, которым больная пыталась что-то объяснить, Сарра поняла – инсульт.

– Есть кто-нибудь в доме? – крикнула она, на том еврейском наречии, которое, как она знала, немцы, хоть и с трудом, но понимают.

Никто не отозвался.

Сарра попросила Зиночку посмотреть, нет ли кого в доме. Медсестра вышла. Сарра взяла руку больной, пытаясь прослушать слабый, едва различимый пульс. Вбежала Зиночка и не в силах произнести ничего толкового, испуганно повторяла одно и то же.

– Там, наверху... там наверху...

– Что там? – спросила Сарра, но медсестра так и не смогла ничего толком произнести.

Сарра оставила больную и быстро, вслед за Зиночкой, поднялась наверх, в маленькую комнатку с наивными картинками с прописями, ковриком с изображением ангела над кроватью и маленьким столиком, с висящим над ним зеркалом, в ту самую комнату, где мы побывали с Сережкой Замчаловым.

Сарра сразу увидела Анну, распростертую на полу в какой-то странной, неестественной позе и склонившуюся над ней плачущую девочку. Платье на Анне было порвано, изо рта стекала тоненькая струйка крови. Девочка тоже была вся в крови. Кровь черными пятнами окрашивала и зеленый, пушистый коврик, на котором лежала Анна. Увидев входящих в комнату женщин, девочка испуганно, глядя на Сарру, отползла к стене.

Вместе с Зиночкой Сарра перенесла Анну на кровать и стала приводить ее в чувство. Медсестра занялась девочкой. Та что-то лепетала по-немецки, пытаясь объяснить, что здесь произошло. Зиночка языка не знала, а Сарра не слушала, понимая все и без объяснений.

Через несколько минут Анна открыла глаза.

Посмотрела на Сарру так, будто просто спала и только что проснулась. Снова закрыла глаза и уже с закрытыми глазами, тихо, еле слышно, произнесла несколько слов.

– Что ты сказала? – переспросила ее Сарра.

– Убейте меня, – не открывая глаз, повторила Анна чуть громче. – Убейте! Я не хочу жить...

Сарра пыталась успокоить ее, но Анна повторяла все время одно и то же.

– Убейте меня... Дайте, что-нибудь, чтобы я умерла... Из слов девочки Сарра поняла, что изнасиловали их трое солдат. Сперва ее, потом Анну. Ни слова о том, что привела их сама Анна. Сарра почувствовала, что девочка жалеет Анну, может быть, по-своему даже любит ее.

Анна позвала "других". Другие сделали свое дело, выполнили ее просьбу. Сделали свое дело, потом, наверно, допили ром из той бутылки, из которой пили мы с Сергеем и...

Сарра потребовала, чтобы Анна указала, кто они, эти трое. Они могли быть только из нашего батальона, других частей поблизости не было. Анна долго не соглашалась, но все-таки подчинилась, прошла перед строем, но никого не признала. Сделала вид, что не узнает. Ни я, ни Сарра, не сомневались, что узнала, – мы догадывались, кто это мог быть. Во всяком случае, двоих я мог бы назвать без колебаний. Знал их и комбат. Многое прощал им за их действительно незаурядную храбрость. Анна не назвала их, и полковник был ей за это благодарен.

– Она выпустила джинна из бутылки, – сказала Сарра.

Да. Выпустила...

Но она ли его выпустила? Джинн бесновался уже не первый год, кто знает, когда его выпустили? Кто знает, когда его загонят обратно?

● *Альбрехт Дюрер*